

ЦИРК

— Просто цирк какой-то, — сказал психиатр Арефьев, стоя у окна мастерской своего приятеля, художника Морозова.
— Дурдом, — не глядя, согласился Морозов, продолжая тампонить скомканным листочком бумаги зелень на незаконченной картине.

Во дворе дома художника дородный господин в сером костюме «чеканил» мяч носком лакированного ботинка. Моросил дождь, и его водитель, прилепившись как тень, прикрывал хозяина широченным черным зонтом.

Серебристый джип с открытыми дверцами дожидался их на обочине. Чуть поодаль двое мальчишек лет восьми-деяти, по всему законные владельцы мяча, с напряженными лицами наблюдали этот неожиданный мастер-класс.

Наконец где-то на второй сотне толстяк, последний раз приняв мяч на грудь, послал его пацанам и вполне счастливый вернулся в машину.

— В сущности, для такого Марадоны разница между цирком и больничкой не слишком велика, — Арефьев вернулся к столику, где, оторвавшись от работы, Морозов уже разлил остатки водки в пластиковые стаканчики.

— Выпустил ненадолго своего внутреннего ребенка наружу, — продолжал он, — и снова деньги ковать, притворяясь перед всеми и в первую очередь перед собой, будто он и в самом деле взрослый человек.

К нам люди идут, чтобы извести тараканов в своей голове с помощью нейролептиков и прочего. А в цирк или так, по мячу постучать, чтобы тех же насекомых выманить из головы добровольно, по-хорошему.

Ты когда-нибудь смотрел в цирке не на манеж, а на публику? Вот где настоящее представление — наблюдать за наблюдающими! Когда у них на глазах какой-нибудь прилизанный хлыщ во фраке расчленяет двуручной пилой пышногрудую блондинку. Что это, как не визуализация перманентно-маниакального импульса больного сознания?

Или вот еще: некто, запертый в сундуке под куполом, вдруг оказывается сидящим в третьем ряду зрительного зала, поменявшись местами с не очень юной особой в платье с выпускного вечера собственной дочери. Разве это не реализация вытесненных желаний идентифицировать себя с противоположным полом? Получить возможность созерцать невозможное. Видеть на манеже настоящий рай тараканьих желаний! Кое-кому после этого удастся хотя бы на время выманить вредных насекомых наружу в естественную для них среду обитания. Вот вам, голубчик, и временная ремиссия...

— Слава! — взмолился Морозов. — Я ведь в цирк не хожу, и тараканов у меня отродясь не бывало. Но если ты не заткнешься, мне может понадобиться твоя помощь не только в лечении абстинентного синдрома. А у меня заказ...

— Ваша болезнь, мой друг, достаточно эффективно лечится огуречным расолом. А вот мне, кажется, действительно, пора в цирк...

Арефьев прошелся по довольно просторной мастерской, поскрипел широкими, крашеными светло-серой масляной краской половицами, стал у мольберта.

Небольшой, сорок на пятьдесят сантиметров, холст был уже в широком багете. Морозов всегда так работал, даже предварительный рисунок наносил, лишь когда подрамник одевался в раму.

— Какой мундир, — объяснял он, — такой и генерал будет...

На картине над затхлым прудом с полузатопленными мостками высился старый тополь. Болотная зелень воды непрозрачна, матова. Только на переднем плане, где ряска чуть разошлась, видны камушки на неглубоком дне. Блики от почти скрытого вечерними облаками солнца красным подсвечивают крышу украинской мазанки. Куры. Белье на веревке... Обычная, как принято говорить, жанровая композиция. Тепло, покой, тишина...

Картина называлась «Хата» и была многолетним хитом Морозова. Он тиражировал ее не один десяток раз, но тем не менее она исправно продавалась в выставочном зале Союза художников.

— Как в театре, — оправдывался он, — один спектакль идет двадцать лет, и публика на него ходит.

В постоянном его репертуаре имелись еще «Баня», «Озеро» и «Африка». Както по молодости, после удачно проданной картины, Морозов оказался в Египте и с тех пор изредка, по преимуществу зимой, писал раскаленный песок под расстрескавшимся, вибрирующим от зноя кобальтовым небом.

На стеллажах его мастерской хранилось уже достаточно для персональной выставки работ. И, создавая очередную хату, Морозов позволял себе думать о собственном творческом пути как о вполне состоявшемся.

Смирившись с тем, что ему все равно придется прерваться, он отложил кисти и уселся в продавленное кресло.

— Что, все так плохо? Или в доктора поиграть желаем? Ну-с, таки я вас уже слушаю...

Арефьев, не отвечая, вытащил из кармана диктофон, установил его на столик между двумя пустыми пластиковыми стаканчиками, как между колонками, сказал серьезно:

— У одного моего друга после двадцати лет ремиссии случился рецидив. Случай весьма странный. Я бы хотел, чтобы ты кое-что послушал. Надеюсь, это поможет мне выйти за пределы простого психоанализа и присоединить к услышанному нечто, что все время от меня ускользает, а значит, скорее всего, находится вне того, что записано на пленке. Запись, конечно, старая, не обессудь, но разобрать можно...

— Раз, — донеслось, потрескивая, из динамика, — теперь уж не помню с какого перепугу, раньше за нами такого не водилось, поехали мы с Бамборой в цирк на Цветном.

По паспорту он, конечно, Саня Леонтьев, но в городке, да и в Потапово, на набережной, даже в микрорайоне, он Бамбора. Книгочей, шовинист и жесткий, лет с пяти, инсулинозависимый диабетик.

Духом Бамбора всегда бодр, умом дерзок. Но инъекции каждый день. На внутренней стороне лодыжек — черные ямы от сотен уколов. А на дворе — семьдесят шестой год. Об одноразовых шприцах мы тогда и не слышали.

Утром он, как всегда, ширнулся, вторую дозу взял с собой на всякий случай и — в путь.

До Москвы от Воронки доехали на мониинской электричке. Метро, троллейбус. Первого отделения я совсем не помню. Кажется, смотрели на воздушных гимнасток в невидимых стрингах. А в антракте Бамбора поплыл.

— Плохо мне, — говорит. — Сходи в медпункт, Носорог, попроси шприц...

И протянул мне крошечную ампулку.

Носорог — это я. Но не для всех. И, если Бамбора назвал меня этим погонялом, значит, ему действительно хуже некуда. Я его посадил на диванчик у гардероба и бегом к служебной двери. Скорую, думаю, вызывать поздно. Пока доедут, у него кома начаться может. А тут — две минуты и спасительный укол.

Зря я так думал... Цирк изнутри — как тулуп с изнанки. Душно, темно. Какие-то конструкции, перегородки, ящики. Шкафы, баррикадами перегораживающие и без того узкий коридор. Может, кто тогда на гастроли собирался? А двери все сплошь без табличек. И ни души! Ни вахтера, ни уборщицы со шваброй. Пусто, тихо, словно весь свет, музыка, веселье, через край бьющие по ту сторону на манеже, оттого и ярки там так чрезмерно, что досуха высосали свои собственные внутренности.

И я бегу, бегу, набирая скорость, вдоль бесконечной кольцевой стены, бьюсь подряд во все двери, а они заперты.

Наконец, когда мне казалось, что, разогнавшись, я нарежаю уже второй круг по внутреннему коридору, я влетел, едва не высадив вместе с косяком приоткрытую дверь, в маленькую квадратную комнатку.

Там под афишей, где смуглый юноша жонглировал на спине дыбом стоящей лошади, пятеро мужчин пили чай из узких стаканов. «Наездники Кантемировы» — было на афише.

— Где медпункт?! — выкрикнул я, задыхаясь.

— Дальше, — невозмутимо отвечал мне постаревший лет на тридцать юноша с плаката. Остальные даже глаз на меня не подняли. Сидели кружком, грели пальцы о стаканы.

Дальше я попал в грим-уборную двух клоунов с сизыми накладными носами, спугнул стайку одинаковых девушек, прикрепляющих цветные перья к своим купальникам, еле вырвался от не совсем трезвого пожилого жонглера. И везде я слышал одно:

— Дальше...

В медпункт я ввалился свирепый, точно настоящий носорог. Антракт подходил к концу.

Даже если Бамбора отключился и сердобольные граждане вызовут скорую, инсулин все равно у меня. Кажется, я едва не дымился...

— Шприц!! — завопил я с порога, держа перед собой ампулу. — Пожалуйста, дайте мне шприц! Там диабетика плохо, ему укол нужен!..

Теперь мне легко представить состояние пожилой фельдшерицы, которую я застал за вязанием шерстяного носка. Обезумевший тип врывается к ней на этот крошечный стерильный островок и едва не в лицо тычет ей какую-то ампулу.

Реакция опытного медработника оказалась молниеносной. Тетка выскочила из-за стола и, выставив перед собой длинный вязальный крючок, заверещала дурным голосом:

— Иди, иди отсюда, наркоман несчастный!! Нет у меня никакого шприца, ничего у меня нет! И убери ты свою ампулу! Иди, а то охрану вызову...

Она выла на волне антилопы, которую утаскивает крокодил.

— Шприц, — повторил я, растерявшись. — Он же умереть может...

— Скорую вызывай! — огрызнулась она, видя, что я не опасен. — Автомат внизу, в гардеробе.

Ее медпункт сиял чистотой. Стеклянные шкафчики, бутылочки на полках, плакаты на стене, призывающие тщательно мыть руки перед едой и соблюдать гигиену полости рта.

А на столике сбоку, на разложенной полоске ткани, стояла маленькая металлическая коробочка с ручками. Такой пенал для шприцев.

Еще миг я верил, что тетка в белом халате протянет мне этот проклятый шприц. Я же вернул бы его через десять минут. Сделал укол и вернул — зачем он мне? А у нее автоклав. Прокипятит и коли дальше, кого хочешь. Да ведь и не один же шприц у нее!

Но она смотрела на меня, как на ядовитое насекомое. У меня просто выбора не было! Я оттолкнул ее, схватил со стола шприц и выскочил в коридор.

Поймали меня до обидного быстро. В цирке и охрана, кажется, появляется ниоткуда, словно голуби из шляпы фокусника.

Только те двое на голубей походили меньше всего. Скорее, это была пара хорошо выкормленных бизонов. Меня выдернули из какого-то ящика со щелями, оставшегося, похоже, от аттракциона, где шпагой прокалывают запертого в нем человека (укрывшись в нем, я надеялся, что они протопчут мимо) и зажали так, что легкие мои едва только не схлопнулись. Оторвав от пола, без лишних вопросов меня поволокли к выходу.

И вот тут это со мной случилось...

Сначала — наверное, от удущья — я на несколько секунд потерялся. Говорю так, потому что до гримерки наездников Кантемировых меня донести не успели.

Придя в себя, глаз я не открывал. Помню, подумал: Бамбора умирает, а я здесь, в двух шагах, с ампулой инсулина и шприцем. Их у меня никто не отбирал.

Потом вдруг — ясней, чем в реальности — я представил, нет, точно на пленке увидел, как мы с Бамборой едем в метро, входим, идиотски улыбаясь, в фойе цирка, сидим в зале. Вот он что-то говорит мне возле буфета, собирается взять пиво. А вот ему уже плохо...

Пленка вдруг пошла по кругу, замкнулась. Начало и конец слились. Непонятно стало, что за чем следует. Кадры повторялись и до любого мига было одинаково близко, прошлое и настоящее существовали одновременно, их легко было поменять местами, не хватало только будущего, в котором уже не было Бамборы.

Потом круг сузился, кадры будто сжались, сошлись у меня в голове в одной точке, меньше которой нет ничего и которая сама ничто, а лишь граница между пространством, сжавшим ее со всех сторон до этого ничто. Но я знал — все, что было на пленке, есть и в точке, надо только вновь развернуть ее до круга, а после запустить его, разорвав, в обычную ленту времени.

Охранники все сжимали меня, влача по бесконечному коридору куда-то дальше, в недра циркового закулисья. Я не мог не то, что вырваться, даже сделать глоток этого затхлого воздуха было невозможно.

Я задыхался. Тело было словно в клещах, но я, я-то сам рвался из него еще сильнее. Еще немного, и, словно носорог клетку, я смог проломить его изнутри.

Я вдруг ощутил себя резиной. Маленьким, с теннисный мяч комком белой резины, упругой и плотной, как жидкая сталь.

Правой рукой я крепко сжимал его. А левой — я же левша, собравши силы, не те, что есть у меня сейчас или были тогда, в тот момент, а все, что собрались у меня за всю мою жизнь, все, без остатка — я растянул себя.

Растянул безжалостно, как резину, один конец которой так и остался в темном цирковом коридоре между двумя охранниками, а другой оказался рядом с Бамборой, часа за полтора до антракта.

Я был в двух местах сразу, и надо было держать, держать оба конца изо всех сил, потому, что как только один конец вырвется, резина снова станет комом. Это

как из полной бочки плеснуть по желобу воду и часть ее стечет в другую бочку, до того пустую. А желоб пляшет, и надо держать баланс, не то вода снова окажется в одной бочке.

И главное — у которого меня настоящие шприц и ампула с инсулином?..

Бамбора все сидел на той красной банкетке, с белым, как стена, к которой он привалился, лицом. Я сам задрал ему штанину и, забыв, что инсулин вводят подкожно, вогнал иглу чуть не до кости.

Руки охранников проходили сквозь мое тело, хватали пустоту. Мне было больно, но удержат меня они не могли. Я был сам как из плотного горячего воздуха, вроде того, что дует позади турбины.

Потом резина оглушительно лопнула...

Я снова в опустевшем цирковом буфете. Прозвенел уже третий звонок. Последние зрители на ходу дожевывают свои бутерброды, спешат в зал. Бамбора стоит за стойкой, прихлебывает Рижское пиво.

— Тебя только за смертью посылать.

— Не дают, — отвечаю. — Уперлись и ни в какую. Даже охрану вызвали.

— Оно и к лучшему. Кажется, это была гипогликемия.

— ???

— Ну, сахар упал, — морщась от боли, он трет лодыжку. — Надо было съесть что-нибудь, и все. А укол бы меня доконал.

— Ясно, — говорю. — Тогда забирай...

И я протянул ему разогретую в ладони ампулу.

— Что за хрень такая?!

Целехонькая, идеально запаянная ампула была совершенно пустой.

Бамбора держал ее наотлет, словно тарантула.

— Я же сам ее брал! Утром, из новой упаковки...

На этом месте пленка кончилась, голос прервался.

— Ну, что, полегчало? — спросил Морозов, помолчав с минуту.

Арефьев перевернул бутылку. Подержал ее над пластиковым стаканчиком.

— Опыт подсказывает мне, что в пустой бутылке остается до четырнадцати капель водки.

— Шестьдесят две, — возразил Морозов. — Все дело в терпении. А где теперь этот парень? Носорог...

— Он стал психиатром.

Морозов с хрустом потянувшись, встал, вернулся к мольберту. Мاستихином с каким-то ожесточением соскреб свежие мазки с крыши хаты, выдавил на палитру чуть не полтюбика волконскоита. Уже спокойнее принялся растирать его.

— Просто цирк...

ЯБЛОКИ

Я появился на свет в городе, само название которого несет в себе мантру нашего Мира...

Задолго до этого, вполне рядового и потому оставшегося почти незамеченным события великий поэт недоумевал — как это, с таким-то умом и талантом угораздило его родиться в России?

Рискуя огорчить его еще больше. Не обладая сколь-нибудь явными признаками ни того, ни другого и даже не особо стараясь, я с первой же попытки попал в

десять. Истошный младенческий крик, которым я известил мир о своем приходе, прозвучал в самом что ни на есть его центре.

Некоторым утешением классику может служить то, что находится упомянутая сакральная точка в пределах все того же государства.

Каждый год в период весеннего обострения разношерстные эзотерики со всех концов Земли слетаются в мой родной город, чтобы здесь, уже сбившись в стаи, проществовать в деревню Окунево — энергетический пуп планеты, откуда по неколебимому их убеждению и берет начало наша пятая по счету человеческая раса...

Ну и где справедливость?

У судьбы, конечно, все заранее пристреляно. На то она и занимает изначально господствующие высоты. Но даже окопная вошь способна иногда сбить самый точный прицел. Хотя лучше бы ей об этом не знать...

Сам я застал родной Омск лет через сорок после того, как благодаря адмиралу Колчаку он, пусть и недолго, все же побыл в статусе столицы великой империи. Примерно столько же лет понадобилось еще, чтобы я, как и большинство моих сограждан, узнал о сем замечательном факте.

Первое, что меня неприятно удивило уже в роддоме, — было то, что служители этого учреждения оказались заняты исключительно сдачей-приемкой нового, в данном случае моего, тела.

Никому и в голову не приходило поинтересоваться — что за душа посетила в нем этот мир и не лучше бы ей для ее же собственного блага несколько повременить с этим не всегда безопасным предприятием или хотя бы перенести его географически.

Акушерка мне попалась, как нарочно, неопытная. В результате ее неловких манипуляций я лишился такого важного органа, как здравый смысл. Чтобы придать происходящим вокруг меня событиям хотя бы видимость единства, принужден был с первых же минут моей жизни пользоваться в качестве приводящих к нему связей такими его малопригодными заменителями, как: с левого фланга злым умыслом, с правого — ну очень высокими помыслами.

Что-то вроде цвето-бифокальных очков, где верхняя часть линзы нежно-розовая, нижняя же — черная, как грязь. Но, поскольку жить постоянно в состоянии восторга или безысходной тоски показалось мне одинаково утомительным, я принял решение сесть между стульями. Живут же люди бездушные или безмозглые, и ничего... Почему бы мне не попробовать жить без мыслей? Ну не то чтобы совсем, но, во всяком случае, без здоровой их части.

Уже тогда я подумал, что куда продуктивнее было бы принимать роды в театре или, скажем, в психушке. По крайней мере, оба эти учреждения предназначены для души. Одно — для скучающей. Другое — для больной...

Соображения мои в те дни, впрочем, в силу моего весьма нежного возраста, были несколько поверхностны. Чуть повзрослев, я начал приходить к мысли, что если Провидение и забросило Дюймовочку к жабам, то в этом наверняка имелся Его скрытый от наших глаз Промысел, а на девочку были весьма определенные планы.

Возможно, ей надлежало выйти замуж за жабу и произвести на свет карликовых полуторадюймовых жаб с тонкой душевной организацией. В крайнем случае — рослых бородавчатых дюймовочек, склонных к водным видам спорта.

При таком раскладе результатом ее личной жизненной драмы явилось бы значительное обогащение местной фауны, что вполне укладывается в эволюционную колею, где вариативность видов — основа продвижения вперед.

Ну и ладно...

Я же, достигнув возраста, когда юноше мужского пола приходит пора определяться с выбором жизненного пути, свернул по неясным до сих пор для меня причинам в сторону приемной комиссии одного творческого вуза.

К собственному удивлению, я легко в него поступил и, не слишком обременяя себя учебой, незаметно дотянул до пятого курса.

Думать о дипломе долго не пришлось. Видя мою и со товарищи нерешительность, кафедра живописи предложила нам «сообразить на троих». Проще говоря — небольшим творческим коллективом выполнить так называемый социальный заказ — серию художественно-политических плакатов, посвященных славной истории Ленинского комсомола.

Промаявшись в околотворческих поисках недели две, мы нашли нехитрый, но вполне беспроеигрышный ход. Идти было решено через безошибочно узнаваемые каждым нормальным советским человеком, навязшие в зубах не одного поколения кинообразы.

Гражданская война — Владимир Конкин в буденовке, с широко раскрытым в атакующем крике ртом, в багрово-красном негативе, с лицом во весь — шестьдесят на девяносто — лист. Кто не знает Павку Корчагина?

Космос — улыбка Гагарина, который через миг скажет свое «Поехали!»

Целина — лопасть плуга с отваливающимся на ультрапереднем плане жирным пластом земли. И так далее, все шесть орденов.

Через всю серию, поверх каждого плаката вьется орденская лента, на которой сияет самый главный орден с вождем мирового пролетариата.

Простенько и парткому не придрачься. Сделать такую работу, да еще втроем, — неделя. А на диплом отводилось месяца два, и мы должны были изображать вдумчивую, напряженную и очень творческую деятельность.

Для этого нам достаточно было, взойдя утром на четвертый этаж старого здания, где располагался наш худграф, зайти в отведенную для работы мастерскую и никому, хотя бы до обеда, не мешать.

Часа в четыре мы расходились по домам. Работали мы в стиле Пенелопы, супруги хитроумного царя Итаки. Разве что пряжу не распускали. За день, к примеру, мы могли натянуть на планшет бумагу. На следующее утро грунтовали ее эмульсионкой. И — надо же краске просохнуть — коротали оставшееся время всяк за своим делом.

Следом шла масляная грунтовка сначала маленьким валиком, потом аэрографом. Далее надо было резать трафареты, имитировать поверхность старой киноплёнки и прочая, прочая...

К концу первой недели мы так втянулись в этот черепаший ритм, что сами начали беспокоиться — успеем ли уложиться к защите?

В тот день мы с Володей Калачевым, моим подельником по диплому, талантливым художником и человеком очень тонким, решили навестить нашего болезного сокурсника, Васю Дулько.

Дулько защищался на кафедре декоративно-прикладного искусства, которая располагалась на первом этаже.

Не спеша спустились мы по широким, стертым за сто лет каменным ступеням бывшего коммерческого училища, где куются теперь педагогические кадры, и вошли в створчатую дверь слева от лестницы, уходящей дальше в подвал, в столовую.

Васю мы застали за тяжелым разговором со старшим преподавателем кафедры Степаном Григорьевичем Островным.

— Работы все больше, а пальцев все меньше? — Островной мрачно разглядывал выставленную вперед напоказ, не вполне целую Васину десницу.

Дипломная работа пострадавшего заключалась в том, чтобы скучный беленый потолок коридора между кафедрой и мастерскими сделать ажурно-сводчатым, имитируя в технике резьбы по дереву манеру средневековых западноевропейских зодчих.

Вася, чернявый разбитной парень, был родом из Нижнеомки. За время работы он, весьма способный к художественным ремеслам, что называется рукастый, потерял по фаланге на указательном и среднем пальцах правой кисти.

Человек он был азартный, увлекающийся, часто задерживался в мастерской допоздна. И не успели снять швы с одного пальца, как третьего дня, и снова на «циркулярке», он повторил свое кровавое шоу.

— Что делать будем?! — пытал его Островной, маленький седоватый человек с медальным лицом, скорченным так, словно за щекой у него был заложен мышьяк, причем сразу на все зубы.

— Дальше работать, — неуверенно предложил Дулько. — Я же левша...

Для пушей убедительности он поднял пострадавшую руку и бодро помахал ею. Вероятно, Вася собирался изобразить латинскую букву V — знак победы.

Однако забинтованный средний палец, больше походивший сейчас на жирную скрюченную личинку, даже не шелохнулся. Зато остаток зажившего указательного строго грозил Островному.

— Издеваешься?! — побагровев даже галстуком, Степан Григорьевич с вожделением посмотрел на замершую у стены циркулярную пилу.

Островному, конечно, было плевать на незаконченный потолок. Не сомневался он и в том, что его подопечный, так или иначе, покончит с «пламенеющей готикой».

Степан Григорьевич болел исключительно за свой зад, который, при таком раскладе, вполне мог покинуть насиженное за долгие годы кафедральное кресло. На его напряженном челе ясно читалась мысль: «Как, не слишком ударив в грязь лицом, избавиться от такого опасного дипломника?»

— Я же написал объяснительную, — принялся оправдываться Дулько. — Несчастный случай. Инструктаж по ТБ я прошел. В мастерской был не один, с двумя свидетелями.

Островной недоверчиво покосился в нашу с Калачевым сторону.

— Точно, — сказали мы хором. — Мы рядом были.

— Просто ни на шаг от него не отходили.

— Мы с него штаны сдергивали! — радостно вспомнил Калачев.

— Штаны?

— Брюки, — уточнил я. — Имел место быть акт самопроизвольной дефекации.

— Акт чего?!

— Обосрался он, — вежливо пояснил Калачев. — Как кровь на стену хлестнула, он орет: снимите штаны, снимите штаны!! А тут такое... Пила визжит, Нос, ну то есть Дулько, воеет, кровящи вокруг... Ну, штаны...

— Брюки, — сказал я.

— Ну, да, брюки мы с него сдернули, он тут же и насрал... Вызвали мы с вахты скорую, Васю увезли. Врач еще палец нас просил поискать. Говорит, иногда пришивают. Но тут ведь опилки кругом, доски. Куда-то, видать, закатился.

— Думаю, — предположил я, — Васин палец крысы съели.

— Крысы?! — Островной машинально сдвинул начищенные коричневые полуботинки. — Их же неделю как потравили.

— Наверное, из столовой забежали.

— Точно крысы, — поддержал меня Калачев. — То-то мы обыскались тут. Когда отмывали...

— С тебя, Нос, литр водки, — миролюбиво предложил я.

— Сволочи, — обиженно сказал Дулько. — Зачем вы так со мной?

— Два, — уточнил Калачев.

— Каждому, — сухо сказал я.

Дулько гордо вскинул горбоносую голову.

— Лучше смерть, упыри позорные!..

— Цирк заканчиваем! — остановил нас Островной. — Идите уже в магазин...

Часом позже, оставив Степана Григорьевича внизу в одиночестве снимать стресс (Калачев еще обещал принести ему верное средство от крыс с шинного завода), мы сидели в мастерской живописи на четвертом этаже.

У стены подсыхали шесть — по числу орденов — плакатных полуфабрикатов.

— А я думал, мы друзья, — печально сказал Василий. — С первого курса вместе... Ну, зачем врать-то было? Только зря опозорили.

Калачев встал. Желая подчеркнуть значимость момента, приподнялся и я.

— Вася, Островной обязан проникнуться произошедшей с тобой трагедией.

— По-другому его не пронять.

— Василий! — с пафосом продолжал Калачев. — У тебя вся жизнь впереди! Наш вуз открывает перед своими выпускниками поистине безграничные возможности.

— А значит, — заключил я, — диплом стоит репутации!

Обдумав услышанное, Дулько, кажется еще не совсем отошедший от недавнего наркоза, сделался вдруг словоохотлив.

Художник он был так себе и по этому поводу никогда особо не заморачивался.

Но на пятом курсе рисунок у нас стал вести старый монументалист Слободин, учившийся, как говорили, у самого Бродского. На занятиях он иногда подходил, брал у студента карандаш, оттачивал его до комариного носа, говорил, глядя на натуру:

— Вот так! И чтобы разница не больше острия...

Ехидный, часто довольно желчный, к работам Дулько он питал несомненную слабость. Жутковатые монстры, в которых тот легко обращал изящных обнаженных натурщиц, развлекали старого мастера.

— Есть в этом что-то химерическое, — шурился он сладострастно на очередного мясистого горбуна со слипшимися волосами и вывернутыми рахитичными суставами. А позировали нам обыкновенно экс-балерины музыкального театра.

— Иные идут к этому годы, мда... — добавлял Слободин, уже скучнее, переходя к прочим, вполне реалистичным рисункам. — Ты, Вася, на хлеб с маслом всегда заработаешь...

Дулько принимал это, кажется, за чистую монету. Впрочем, кто из нас видит то, что есть, а не то, что хочется? Кто не достраивал недостающие башни собственных воздушных замков или не вырезал не слишком героические страницы автобиографии?

Как бы там ни было, но к окончанию вуза его самооценка как художника поднялась на достойную высоту. Он даже полюбил давать нам советы, иногда вполне разумные. Но сейчас Нос оседлал любимого конька.

— Была у меня одна девочка, — начал он, сводя черные глаза к переносице. — Воше! Красивая... Я думал, таких не бывает.

— Лучше твоей? — из вежливости поинтересовался Калачев, промывая аэрограф.

На сегодня работа была закончена, но расходиться было рановато. Желательно было, чтобы кафедра и деканат опустели. Мы не могли разрушить миф о том, что быстро хорошо не бывает.

Но Василий неожиданно сделался серьезным.

— Лучше, — сказал он. — Лучше всех. Я тогда женат не был. Кажется, это на третьем курсе было. Я на выходные домой приехал и вечером в клуб, на танцы. Октябрь, помню, но тепло, как летом. Она стоит у стеночки, одна. И никто к ней не подходит! Прикиньте — такая красивая, что все боятся! Но только не я. На мне джинсы новые, футболочка белая. То да се, потанцевали. Я ей после медленного говорю — пойдем, типа, погуляем. Ну, тепло же, а клуб у нас в парке. Фонарей мало, скамеечки... А она: «У тебя яблоки есть?»

«Какие, — спрашиваю, — яблоки?!» — А сам уже чуть копытом не бью. «Красные, — говорит. — Ты принеси, я яблок хочу».

Ну, блин!.. А время-то уже часов девять. Магазины закрыты. Кое-как на автовокзале в киоске взял и мухой обратно, в клуб. А ее нет!.. Я у всех спрашиваю — там же все свои, знакомые, — никто, говорят, не видел, никто не знает.

До закрытия бегал, искал. И ведь девчонка красавица, не спутаешь. У нее над верхней губой еще шрамик. Только он ее не портил...

Дулько замолчал. Отер обильно выступившую пену.

— А ведь я бы на ней прямо с ходу женился. Точно говорю.

— Шрамик? — спросил я.

— Любой ее звали. — Дулько вдруг напрягся. — А ты что, знал ее?!

— Нет. Но была у меня одна Люба. Рыжая, шустрая такая. Из Сорочино. Ты не поверишь, тоже мне не дала.

— Да пошел ты! — обиделся Дулько. — Я ему про любовь...

— Нет, ты послушай! Я думаю, тут все дело в цвете. Была у меня еще одна рыжая, Алла с Козицкого. И тоже порожняк. Правда, у Аллы я сам не просил.

— Замотал ты, Валера! — Дулько порывисто поднялся и, отойдя к окну, принялся грызть ногти на оставшихся пальцах.

— Ты и был замотанный, — сказал я по-доброму.

Калачев, до поры не принимавший участия в разговоре, с тревогой воззвал к остервеневшему товарищу:

— Вася, береги руки! Хочешь, Карла Хофера посмотрим?

Накануне в магазине «Знание» он прикупил альбом немецкого экспрессиониста, и теперь пришло время отвлечь горячего нижеомского парня.

На обложку альбома был вынесен фрагмент «Купающихся юношей». У крайнего, то ли в соответствии с высоким замыслом художника, то ли по причине нехватки времени, была недописана правая рука.

— Хофер, Вася, просто твой альтер эго...

— Ну, что там у тебя? — ворча, Дулько оседлал стул рядом с Калачевым. А я занял место у окна.

Стоял апрель. Люди на остановке внизу зябли, растворяясь в бьющем прямо в мастерскую предвечернем солнце. Свет был — хоть прикуривай. Только я никогда не курил. Я всегда, сколько себя помнил, спортом занимался. И ничто, даже в институте, меня больше не занимало. Не считая, конечно, девушек...

Вот и тогда, за три года до пожертвованных искусству пальцев Дулько, я разговаривал на постоянно волновавшую меня тему со своим школьным товарищем.

— Есть один кореец! — подвывал на ходу Сенкевич (так его звали). — Настоящий мастер каратэ! Учится у нас в физкультурном...

А на дворе был семьдесят восьмой год. И слово каратэ действовало на меня, как дудочка факира на змею.

Мы не торопясь, шли по центральной аллее городского парка к стадиону «Красная звезда». Сенкевич жил неподалеку, через двор от института физкультуры.

Августовское солнце палило, встречаемые девушки попадались сплошь красивые. Нам было по девятнадцать. Кажется, мы были счастливы...

— Я с ним знаком, — заводил меня Сенкевич. — На турнире Карбышева дважды боролись. Его Со зовут. Со Ден Гун. Он тогда победителем стал, мастера получил. Парень он неплохой, но никого к себе тренироваться не берет. Так, еще два-три человека с ним, земляки с его же курса...

— Ага, — рассеянно отозвался я. — А при чем тут всесоюзный турнир, да еще по самбо?

Я вырос рядом с этим парком. Бывал в нем, наверное, тысячи раз. Но всегда, стало мне прийти в арку его ворот, какое-то особенное волнение охватывало меня. Запахи, звуки, все кругом приобретало иное, проявленное звучание, все наполнялось значением. И это при том, что я ненавижу любую охоту и приключений на свою задницу никогда не искал.

Ответить мне Сенкевич не успел.

— Опаньки! — выпалил он неожиданно. — На ловца и зверь бежит! — Он широко развел руки. — Смотри-ка, вот и Со!

Я посмотрел. Но никакого богатыря перед собой не увидел. Навстречу нам по центральной аллее от стадиона, плохо различимая от бьющего в глаза солнца, шла парочка.

Он — что-то вроде небольшого гладкоотесанного дубового бревна с семенящими конечностями и большой угловатой головой. Она — нет, ее я даже не разглядел. Вроде в платье, хотя в чем ей еще было быть? На загорелой шее легкий белый завиток. И маленький шпрамик над верхней губой...

— Со! — мы сошлись. Маленький кореец со сломанными борцовскими ушами, сверкнув фиксой, сунул мне небольшую, лодочкой ладонь.

Рукопожатие несильное. Руки к «бревну» плотно не прилегают, мешают раскачанные «крылышки» — широчайшие мышцы спины. Футболка с надписью «Бангкок» лопается на безволосой груди. Каблуки у него под наглаженными, от бедра синими клешами сантиметров двенадцать. Но все равно девушка чуть выше его. Она все молчит, чуть улыбается, и я вдруг понимаю, что никого рядом с нами нет.

Нет не только Со и как обычно что-то радостно несущего Сенкевича. Нет даже крупного африканского слона, который, если бы и оказался рядом на нагретой асфальтовой аллее парка имени Тридцатилетия ВЛКСМ, все равно остался бы мною незамеченным. Чтобы напомнить о своем существовании, слону потребовалось бы отдавить мне хотя бы ногу.

— Ты чего?! — Со близко сунулся мне в лицо.

— Валера, — выдохнул я. — Что-то голову напекло.

Чтобы разрядить быстро накаляющуюся обстановку, Сенкевич схватил Со в объятья, оторвал с прогибом от асфальта.

— Ну, ты кабан! — завопил он с восторгом. — Девяносто кил?!

— Шестьдесят пять, — буркнул кореец.

Сенкевич аккуратно вернул его на место, кивнул в мою сторону.

— У меня друг — вот такой каратист! Мы к тебе зайдем, а?

— Заходите, — сказал Со и под руку с девушкой посеменял к выходу, в сторону «Кузнечной».

А я остался стоять.

— Красивая, — понимающе хихикнул Сенкевич. — Любочка Бутакова. Вроде она с Кордной, малолетка. Да у Со столько девчонок!..

Больше мы о ней не разговаривали. А через неделю Сенкевич привел меня в общежитие ИФК. В сто пятой комнате на четвертом этаже жили трое: сам Со Ден Гун, тогда студент третьего курса, Че — еще один симпатичный, очень складный, с интеллигентными манерами кореец, его земляк с Сахалина, и Юра Пегичко, флегматичный долговязый тяжеловес из Самары. Все борцы, самбисты.

Мы немного посидели, попили заваренного собственноручно Со чаю. Потом он говорит:

— Хватит болтать! Надевай кимоно!..

И тут же сам переоделся.

Мне досталась еще непросушенная после стирки дзюдога Че Ен Мана, или, для своих, «Гризли».

Комната в общежитии была крошечная, квадратов девять. У одной стены койка Со, шкаф и телевизор на тумбочке. У другой — кровати Гризлика и Пектагу, по-корейски «мосол». Так Со, любивший всем давать прозвища, называл Пегичко.

Мы стали в узком проходе друг против друга. Конечно, Сенкевич, рекомендуя меня как отъявленного каратиста, слегка преувеличил. Я даже кимоно надел первый раз в жизни. Кроме зачитанной до понимания без перевода, правда, совсем неплохой болгарской книжки, ничего общего с искусством окинавских крестьян у меня не было.

Было только жгучее желание научиться, да еще года три занятий тем, что мой первый учитель называл боевым самбо.

Позже, после знакомства с самыми разными видами единоборств, я понял, что современное боевое самбо — очень достойный и уважаемый мною спорт — напоминает то, чему меня учили, не больше, чем бразильская капозэйра греко-римскую борьбу.

Босс (в этом мы с Со Ден Гуном оказались похожи, я тоже иногда даю людям прозвища) в пятидесятые служил в Закарпатье в каком-то закрытом подразделении. На мои расспросы, чем они занимались, он как-то ответил: мусор в лесу убирали. Вроде субботника. Только лет на десять.

И закрыл тему...

Их было около двадцати человек, большая часть сверхсрочники. Командиром был старший сержант, которого Босс снова встретил, уже демобилизовавшись, во Львовском военкомате с майорскими погонами и синими петлицами. Майор стоял к нему спиной у открытого окна, курил.

Не решившись подойти, думая, что обознался, Босс — тогда еще просто сержант Брыков — хотел уже свернуть на лестничный марш вниз. Но майор, наблюдавший за ним в оконное отражение, чуть придержал за рукав, почти не поворачиваясь, сунул бумажку с телефоном.

— Будешь в Москве, позвони.

И снова уставился с интересом во двор, где двое солдат известью белили новенькие бордюры.

Босс ему так и не позвонил. Иногда, жалея об этом, говорил:

— Учиться надо, Валера! Будь у меня хоть техникум, сидел бы я начальником районного вытрезвителя, ничего бы не делал.

Больше о службе своей он практически ничего даже в подпитии не рассказывал.

Все, чему он меня научил, — а это, как я понимаю, лишь верхушка айсберга, — было грубо, экономно и предельно эффективно.

Ничего подобного я очень долго потом не встречал. Лишь когда мне удалось познакомиться с системами Ознобишина и Спиридонова, так незаслуженно забытыми, благодаря самбо Харламбиева, я увидел в них кое-какие знакомые элементы. Разного рода накладки, длинные уходы в сторону с линии атаки, мягкие круговые движения.

Босс говорил:

— Три человека — это два. Два — это один. А один вообще не противник.

И еще:

— Все, что запрещено во всех видах спорта, — наше.

Что правда, то правда. Когда я оказался лицом к лицу с Со, уже тогда выдающимся бойцом, я сделал то, что намертво было вколочено Боссом в мое малолетнее сознание. Так всегда бывает. Любой форс-мажор — и куда деваются навыки, приобретенные позже?

Глядя заученно мимо за его правое плечо, я с ходу пробил оглянувшегося на мою уловку Со изнутри в колено и дважды подряд в голень.

— Это что? — удивился Со. — По суставам нельзя!

А ничего другого для начала, кроме как обезножить противника, я не умел. Вся техника Вовы Брыкова сводилась к низким неуловимым ударам (имелись в виду, конечно, кирзовые солдатские сапоги) по конечностям, последующей работе в ближнем бою ладонями и коленями и неисчислимому количеству болевых в стойке. Никаких прямых руками он не признавал. «Подарок для костоломов, — говорил он. — Любой боксер знает, как ударить в локоть. Что говорить о прикладниках?»

Была еще дюжина обманок, незаменимых в реальном бою, но совсем непригодных в спортивном поединке.

И в следующие пять минут Со вздул меня, как обычный мешок...

Через годы он сделался президентом областной федерации, замечательным тренером. У него шестой дан, не бутафорский, а полученный в Японии, после жесточайших, как бывает в киокусинкай, испытаний, когда за несколько часов непрерывного спарринга боец проходит сотни полторы противников. Но уже тогда он поразил меня умением молниеносно разрывать дистанцию, работать ошеломительными, как камнепад, сериями на разных уровнях...

После схватки мы переделались. Со снисходительно похлопал меня по плечу, и мы распрощались.

После этого я завелся. С ОФП у меня и так было все в порядке. Босс не брался за меня, пока я не стал приседать на одной ноге по тридцать раз, столько же подтягивался на перекладине, пятьдесят раз отжимался на каждой руке от низенького пенечка.

— ОФП, — говорил он, — основа техники. Кто сильнее, тот и прав.

По его трехступенчатой классификации — труп, мешок и слон — я был слоном, что, видимо, соответствовало слабенькой троечке.

Как он называл отличников, я, на самом деле, не знаю. К сожалению, в те времена я был заточен только на спорт и даже такие, просто цирковые трюки, как его работа с ножом, меня не слишком занимали.

Помню только, как, взяв резиновый нож, он широко разводил руки в стороны и, чуть подсев, глядя пристально за мое плечо, медленно начинал кружить. Нож при этом, как на резинке летал из одной руки в другую, и не было никакой возможности определить, откуда будет нанесен удар. А его обратный, как у вьетнамцев, хват при «личном» ударе?..

Это был не просто опыт фронтовых разведчиков, наскоро слепленных из спортсменок, когда та же подготовка к ножу сводилась едва ли не к словам инструктора о том, что бить лучше снизу, так опасней. Потому что, даже падая, можно нанести удар...

Нет, похоже, здесь была стройная, сведенная из совершенно разных, апробированных в бою источников, система. Можно только диву даваться, где проходили подготовку инструктора его отряда. В мощнейших ударах ладонью, например, совершенно ясно была видна техника такого экзотического стиля, как Багуа...

Сам Босс спортивные единоборства презирал, полагая, что никакого толку от них в реальном бою нет. В принципе, я был с ним согласен, но тут, с Со Ден Гуном, меня по-настоящему зацепило. Я во что бы то ни стало решил у него тренироваться. Ничего для этого я не делал, да и что было делать, если он никого к себе не брал, не умолять же. Помог случай.

Осенью на танцплощадке все в том же парке я вновь увидел его, как всегда в окружении многочисленных друзей и почитателей. На выходе после танцев я

приблизился. Мы поздоровались, пошли рядом. Он семеня по дорожке с тремя однокурсниками, студентами-лыжниками.

— Со, — сказал я прямо, но без особого энтузиазма, — возьми меня тренироваться.

Продолжая болтать с приятелями, он коротко глянул на меня и, не замедляя шага, бросил:

— Завтра в восемь...

И началось. Каждый день. Семь дней в неделю, включая воскресенье. Сначала прямо в комнате четвером. Потом в борцовском зале на втором этаже легкоатлетического манежа.

Я был единственным «штатским» — не из профессиональных спортсменов в этой компании. Нагрузки для меня, уже давно занимавшегося спортом, были запредельными. На лекциях в институте я спал. Семинары пропускал. Руки вечно разбиты, связки растянуты. Все тело болит, но в кайф!

А Со и Грizzly с Пектагу еще ведь и на своих борцовских тренировках в институте пот проливали, да по два раза в день. Как выдерживали? Питались-то в обычной столовой. Только вечером в общежитии, когда уже заканчивали тренировку, Со отправлял Пектагу, как самого молодого, на кухню чистить картошку.

Рис он варил всегда сам. Пять раз промыть, залить холодной водой на один цунь — вторую фалангу указательного пальца и не болтать при этом разной ерунды.

В шкафчике у Со стояла трехлитровая банка с домашней кимчой — квашеной капустой, сильно перченной, переложенной кусочками красной рыбы. Ну и колбаса по четыре пятьдесят из ближайшего магазина. Еще молоко, по литру на каждого, и чай...

Ладно, корейцы рис палочками не едят, пользуются обычными ложками. Это сильно упрощало дело, потому что меня часто, случалось, и насильно заставляли ужинать. Тренировки-то заканчивались в одиннадцатом часу, а мне еще предстояло добираться пешком через парк.

Со брал рис и, прежде чем отправить в рот, раза два-три подгрел ложкой так, чтобы было с верхом. Колбасу он ел, бывало, с двух рук сразу, поочередно откусывая от каждого куска. Здоровья он был необыкновенного. Даже после изнурительной тренировки, потеряв пару килограммов весу, он пах так, словно только что опрыскался духами. В отличие от нас остальных, благоухающих, как лошади после забега.

Выдумщик он был редкий. Каждая тренировка проходила по-разному. Он все время что-то изобретал, комбинировал. Тренерская фантазия у него фонтанировала.

По субботам после дневной тренировки мы шли в баню на «Баранова». В воскресенье тренировались утром часов в одиннадцать, а вечерами, приодевшись, Со куда-то исчезал.

Мать его, этническая японка, была прекрасной портнихой, и Со всегда выглядел таким франтом. Брючки сидели на нем без единой морщинки. Пиджак в обликпу, обувь сверкает. Отцу его в ту пору было уже за семьдесят. Как-то, когда мы уже стали близкими друзьями, он рассказал мне историю своих родителей.

Получив отказ от красивой, лет на двадцать моложе его девушки, старый Со заявил, что подожжет ее дом вместе со всеми обитателями, если она не выйдет за него. Не уверен, что он исполнил бы свою угрозу, но через год у них родился маленький Со. Чуть позже его сестра.

Со Ден Гун с девушками отказа тоже не терпел. Девушек у него было много, относился он к ним легко, менял часто. И, соответственно, частенько вынужден был прибегать к услугам известного медучреждения, где к третьему курсу стал

практически своим, прикормив врачей редкими в то время в Омске красной рыбой и икрой. Да и от домашней кимчи заведением просто фанател...

Через месяц совместных тренировок мы настолько сблизились, что на танцы по субботам он стал ходить только со мной. Очень дерзкий, вспыльчивый, в редкий наш поход он избегал драки. После закрытия осенью танцплощадки в парке мы переходили в ДК.

Начинали обычно с «Шинника». Потом, если было скучно, перемещались в «Юность», «Баранова». Часто, едва оборвавшись после разборки в одном месте, мы ехали в другое, а там все уже знали об очередном его подвиге.

Я подобных приключений терпеть не мог. Но Со обычно вызывался в бой сразу с несколькими противниками, и мне, разумеется, деваться было некуда. Впрочем, большинство завсегдатаев подобных мест его слишком хорошо знали и оказывали ему, а заодно и незаслуженно мне, подобающие знаки уважения.

Как-то под Новый год он вытянул меня на танцы в «Шинник». Народу было битком. А в центре огромного паркетного зала вокруг высоченной елки стояли три бутафорских домика для проводившихся тут детских утренников. С нами были еще двое боксеров и Костя Аджамов, тяжеловесный грек из Армении, спортивный врач, наш общий приятель, в последние два месяца присоединившийся к тренировкам.

Со с кем-то буйно отплясывал (а танцевал он замечательно), временами попадаясь нам на глаза. Потом был перерыв, во время которого публика переместилась в кинозал, минут на сорок.

Показывали какие-то журналы, отрывки из новогодних комедий и прочую чушь. И Со где-то потерялся.

Все второе отделение мы толкались среди танцующих, пытаюсь отыскать нашего микадо.

Это было тем более странно, что его номерок из гардероба был у меня. Со явился на танцы в новеньком, присланном из дому бордовом мохеровом свитере, а в брюки он ничего не клал, чтобы лучше сидели. Уйти в мороз он никак не мог, и мы уже начали беспокоиться — танцевальный вечер подходил к концу.

Стоим мы, соображаем. И вдруг... из крошечного, сантиметров тридцать в диаметре, окошка кукольного домика показывается его голова! Повертелась на толстой шее, радостно улыбнулась и вылезла наружу. А за нею и все, как нам показалось, остальное содержимое домика. Сначала, разумеется, мохеровое туловище и конечности брата корейца.

— Здравствуй, дедушка Мороз! — обрадованно пропел Костя Аджамов. — Ты от кого прятался?

Но неожиданно из темного оконца выглянула полная женская нога. Затем другая. Ноги были в высоких красно-бордовых сапогах и колготках в сеточку. Нашупав пол, они сделали неуверенную попытку освободить место, из которого, собственно, и произрастали.

— Легче, однако, верблюду... — заметил Костя, с возрастающим интересом глядя в открывшуюся картину.

Почуввав западню, раба любви принялась совершать мощные возвратно-поступательные движения, чем еще больше заинтриговала зрителей. С разных сторон посыпались добрые советы и довольно смелые предположения.

Кукольный домик ходил ходуном, грозя рассыпаться в любое мгновение. Публика, из тех, кому повезло оказаться рядом, ликовала.

На воскресных дискотеках роскошный паркет «Шинника» собирал до тысячи зрителей. Музыка грохотала. На противоположном конце зала, с эстрады надрылся солист местного ВИА с предновогодним «...У леса на опушке жила зима в избушке». Но центр праздника уже смещался к избушке нашей.

Лишь немногие, наблюдавшие сцену с кругового балкона, хоть как-то представляли, что происходит, но тем интереснее было остальным попасть в эпицентр события. Задние ряды напирали, грозя смести непрочную стенку из четверых, выломившихся из толпы баскетболистов, сокурсников Со.

Сам он повел себя как джентльмен. Спасая честь случайной возлюбленной, он челноком сновал из стороны в сторону, но скрыть от ликующих зрителей роскошь бедер пятьдесят четвертого размера было не в его силах. Больше всего его движения напоминали ритуальный танец муравья перед пойманной гусеницей и только распалая публику.

Первым опомнился Костя Аджамов. Мощным плечом он поддел треугольную крышу, и пленница вывалилась наружу вместе с передней стенкой кукольного домика, украшавшей теперь ее бедра, словно пачка балерины.

Скомканная юбка, цветастая кофточка и прочие детали дамского туалета безнадежно застряли поверх фанеры.

— Оссс!! (звук в карате, помогающий бойцу преодолеть боль или усталость). — Осс, — вопил, содрогаясь от хохота, Костя, точно атлант удерживая крышу, — осс... суки!!!

Тем временем мы с Со сдернули фанеру вниз. При этом слоеный лист дал длинную трещину. Девушка, сравнимая по габаритам разве что с самим Костей, оправляя юбку на сетчатых лохмотьях, растворилась в толпе.

— Осс!! — задыхался Аджамов. — Да ставьте же ее, суки, на место!

Мы кое-как пристроили переднюю стенку, и могучий грек приشلепнул крышу ладонью.

Потом мы тихо, но быстро ретировались в гардероб.

Как этой кустодиевской музе удалось влезть в беличье дупло, осталось для нас вечной загадкой.

— Эскапист, — сказал я, протягивая Со Ден Гуну номерок. — Гудини.

— Хорошо быть карликом, — вздохнул Костя уже по дороге в общежитие. — У меня туда даже хер не войдет...

А еще через несколько дней, тридцать первого, все тот же Сенкевич, истинное призвание которого — всегда быть массовиком-затейником, организовал нам встречу Нового года.

Квартира была на Бархатова, принадлежала его сестре.

И в тот день я второй раз увидел Любу. До того ни я, ни Со ни разу о ней не упоминали. Я был совершенно уверен, что они расстались и что Люба всего лишь очередная его подружка.

Но он неожиданно пришел с ней. Гостей вместе с хозяевами в трех комнатах набилось человек пятнадцать. Кроме Сенкевича, мы с Со никого не знали, да так оно было и интересней. Стол был хороший, вина море, и ближе к ночи все, кроме почти не пьющего Со, изрядно набрались.

Весь вечер я танцевал с хорошенькой разведенной медсестрой, гибкой блондинкой одного со мной роста. Кажется, она и была хозяйкой квартиры.

Потом мы с ней оказались в крошечной комнатушке, почти кладовке. Там была тумбочка и узкая кровать. Но на кровати мертвецким сном спал какой-то неподъемный боров. Разбудить или хотя бы столкнуть его на пол не получилось ни у меня, ни у нее, ни даже у нас обоих.

Деваться было некуда. Природа требовала свое, и мы пристроились на тумбочке. И только дело у нас пошло на лад, моя новая знакомая даже пребольно укусила меня за большой палец, как дверь в наше гнездышко широко, со стуком распахнулась.

— Какого?! — зарычал я и осекся. На пороге стояла Люба.

— Валера! — голос ее прерывался. — Скорее на кухню! Ну, пожалуйста!!

Кое-как одевшись и недоумевая, с чего бы это во втором часу Нового года меня так неожиданно решили накормить — а что еще делать в кухне об эту пору, — я все же пошел за ней.

Хотя зря я так. Чего тут душой кривить? Позови она меня не то, что в кухню, а и куда подальше, я бы так же, не задумываясь, наступил на горло основному инстинкту.

В маленькой, ярко освещенной кухне клубился морозный пар. Не считая коротких ног Со Ден Гуна и его же каменной задницы, в кухне никого не было. Все остальное находилось за широко распахнутым в новогоднюю ночь окном. А на дворе минус тридцать восемь с ветерком.

Шаг — и я оказался у подоконника. Перегнувшись через него, Со молча, из последних сил удерживал в побелевших пальцах чьи-то большие комнатные тапочки. Хозяин тапочек висел вниз головой вдоль заиндевевшей панельной стены и был вне поля моего зрения.

Немедля я ухватился за его левую щиколотку и, чуть подсев, по всем правилам тяжелой атлетики, рванул ее вверх. Последним усилием Со разогнулся вместе со мной.

Через несколько секунд рослый, с ненормально прямой спиной парень стоял перед нами. Голова в инее. Лицо как пустая тарелка. Стукнешь — расколется.

— Красавец, — оценил я, выводя его в темную комнату, где никто и не заметил временного похолодания. — Ты, главное, никому не рассказывай. Не порть людям праздник...

Вернувшись в кухню, я плотно закрыл окно. Со все еще стоял у подоконника. Я зажег духовку и все четыре горелки. Поставил чайник.

Картина была ясная. Парень, вероятно (не все же в городе знали Со) сдуру пригласил Любу на танец. Возможно, даже повторно, в чем, скорее всего, и состояла его главная ошибка. Как воспитанный человек, в чужом доме Со один-то раз бы стерпел. В крайнем случае, отложил бы воспитательный процесс до утра, да и проходил бы он в менее радикальной форме. Но тут, видно, выиграло. А вест-то неравный...

— Физика, — сказал я. — Раздел механики. Если подоконник — точка опоры, то этот мудака — длинное плечо рычага. У тебя никаких шансов. А мы, Деня, на седьмом этаже. Или на девятом? Кстати, за что ты его так?

Но Со, разлепив губы, только выдал дважды:

— Педагог... педагог...

Это меня в честь получаемого мною художественно-педагогического образования так называл Со Ден Гун.

Виновница чуть было не разыгравшейся кухонно-новогодней трагедии все это время стояла между плитой и холодильником. Взглянуть на нее я так и не решился. И вовсе не потому, что не хотел, чтобы Со снова взялся теперь уже на мне проверять законы механики. Просто меня донимала мысль, видела ли она, чем я занимался на злосчастной тумбочке...

Потом я пошел спать, а Со с Любой остались сидеть на кухне. Утром, едва только начал ходить транспорт, они, не попрощавшись, пока все спали, ушли. Позже, часов после десяти, немного пошумев и поправившись, стали расходиться и другие гости.

О ночном происшествии никто, видимо, так и не узнал. Ближе к полудню в квартире, кроме меня, единственного представителя мужского пола, осталась Лена — укусившая меня хозяйка, ее подруга Майя, тоже медсестра, и еще две

немолодые девушки, имен которых я не запомнил, возможно, потому, что не спросил.

Без особых безобразий, но душевно мы провели время до вечера второго января.

А вскоре у меня и Со случилась сессия. Потом он уехал на соревнования в Кемерово и, едва вернувшись, — домой, в Южно-Сахалинск, на каникулы.

Встретились мы, возобновив тренировки, ближе к середине февраля. А через несколько дней, совсем в неурочное время (я только что вернулся из института, и вечером мы бы встретились в зале), Со неожиданно явился ко мне домой.

Поздоровавшись с полупоклоном за руку с моей бабушкой и немного поговорив с нею, как всегда о здоровье и сибирской погоде, он прошел в мою комнату. Лицо у него было глиняное, неподвижное.

Он вытащил из кармана сложенный вчетверо тетрадный листок и протянул его мне.

— Прочти, Педагог, — попросил он сдавленно, голосом, идущим скорее внутрь, словно сопротивляясь тому, что говорит.

Разграфленный в линейку лист был исписан с двух сторон простым крупным почерком.

«Боренька, — стояло в начале письма (Боря, и даже Борис Николаевич, было русское имя моего друга.), — я тебя ждала долго, хотела сказать что-то для нас обоих очень важное. Но тебя все нет, и вот, пишу...

Я очень хорошо тебя представляю и потому прошу: пожалуйста, дочитай мое письмо до конца.

Теперь я могу начать. Когда мы познакомились, я просто тебя боялась. Девчонки в общежитии о тебе разное рассказывали... Но ты был очень добрым. И я не заметила, как влюбилась. Ты приходил почти каждый вечер, мы гуляли, ты разговаривал со мной. И ты никогда, ни разу не сделал того, чего бы я не хотела.

Со мной ты был совсем другим, я гордилась этим... Но потом, когда ты понял, что нужен мне, ты стал приходить реже, только по воскресеньям. Конечно, я все понимаю. Ты учишься, тренируешься, едешь на соревнования, и у тебя на все хватает времени. Ты даже на танцы ходишь, но почему-то без меня! А я сижу каждый вечер одна в комнате и жду тебя. Девчонки ходят в клуб, встречаются... А на меня никто даже не смотрит, все знают, что я девушка Со. Я вижу, как за моей спиной хихикают, перешучиваются. Все думают, что ты меня поматросил и бросил. Никто не верит, что за полгода Со не тронул свою девушку. Иногда я думаю: лучше бы все у тебя было со мной, как со всеми... Может, ты не оставлял бы меня так надолго, особенно в этот, последний раз. Рождество, Старый Новый год, День студента... Я даже приготовила тебе подарок, а тебя все нет...

И я встретила парня.

Он совсем не такой, как ты. Он самый обыкновенный, работает у нас мастером. Но он всегда рядом. И ему со мной интересно. Может быть, я смогу его полюбить... Я устала быть одна. Пойми и прости меня.

И, пожалуйста, Боря, прошу тебя, не возвращайся больше в мою жизнь... Люба».

Я кончил читать. Сложил аккуратно и вернул Со письмо. Спросил, стараясь, чтобы голос мой звучал буднично:

— Сыръем его съедим или сначала зажарим?

Ответ Со меня глубоко поразил. Человек, который никогда никому ни в чем не уступал и особенно в такой, казалось мне, необсуждаемой ситуации, вдруг спокойно сказал:

— Это кумитэ мы проиграли...

И все!.. Потом он немного посидел, вяло пожал мне руку и ушел.

Дальше все покатилося своим чередом. Тренировки каждый день, разве что еще более жесткие. Хотя куда, казалось, жестче? По субботам баня на «Барашке», воскресенье — танцы в ДК. И ни слова о Любе!

Учеников у Со вскоре поприбавилось. Местный участковый из бывших десантников договорился с большим спортзалом в соседнем ПТУ, и мы вышли на нормальные условия.

Ректор ИФК, тоже бывший борец-классик Громыко, частенько приглашал Со, меня и Гризлика, иногда к нам присоединялись для массовой еще двое-трое учеников для показательных выступлений.

Каратэ все еще было экзотикой, но по городу уже начинались процессы о незаконном его преподавании и сборе денег.

Со денег никогда не брал, но лавочку нашу после нескольких вызовов в ОБХСС все равно прикрыли.

Мы снова вернулись в манеж в борцовский зал и продолжали тренироваться уже узким составом с еще большим азартом. Занятия свои мы перенесли на семь утра, другого времени в зале для нас не было.

Мне приходилось вставать в полшестого, ехать через весь район, а потом, после тренировки, в другую сторону в институт, куда я попадал только ко второй паре.

Но однажды, ранним морозным утром, в первый и последний раз пропустив тренировку, я поехал на Кордную фабрику...

Четыре девушки по только что расчищенной от снега дорожке шли к проходной. Свет от фонарей увязал в сумеречном густом снегопаде. Было холодно и тихо, и слышно было, как они о чем-то переговариваются.

Я узнал ее сразу, издалека. Да погасни хоть все фонари в городе, в ту минуту я все равно бы ее узнал.

Я не понимал, что чувствую, и не чувствовал собственных мыслей. Душа моя превратилась в стрелу, летящую сквозь мир, и длилось это если не бесконечно, то, по крайней мере, неопределенно долго.

А может, это огромный пустой мир сам летел мне навстречу. Точнее сказать не могу, но один из нас летел определенно — ног под собой я не чувствовал, земли под ногами тоже.

Когда между мной и девушками оставалось не более десятка шагов, я неожиданно даже для себя отвернулся и быстро пошел к остановке.

Пока ехал в промерзшем троллейбусе, повторил больше девятисот раз: «Я не крыса». Помогало слабо, но я все равно дождал до тысячи и, когда входил в пустой еще, старый корпус пединститута — на часах в вестибюле было около восьми, — ясно понял, что ошибся...

Месяца через полтора, в начале апреля — снег еще лежал на северной стороне манежа — Со позвонил мне днем в воскресенье. К весне мы все немного подустали и воскресные тренировки прекратили.

— Педагог! — сказал он деловито в трубку. — Приезжай ко мне!

— Что так рано? — удивился я. — Договорились же в «Юность», к семи.

— Приезжай! — настойчиво повторил Со. — И это, Педагог, оденься... ну, в общем, как на занятия в институт. Чтобы культурно...

И он повесил трубку.

Дивясь, что бы это значило, я быстро собрался и через час уже входил в знаменитую сто пятую комнату, на дверях которой рукой самого мастера Со была сделана странноватая надпись «Сейф каратэ».

Со был уже одет. В отглаженном синем костюмчике, узком черном пальто, подстрижен — как только что из парикмахерской — и с огромной, килограммов на восемь, сеткой великолепных красных яблок!

— Что так долго?! — он явно волновался. Молча спустились мы на первый этаж. Прошли мимо вытаращившейся на яблоки комендантши и пешком, через пустой апрельский парк пошли в сторону Кузнечной. Идти было неблизко, но Со, топя по мокрому асфальту, всю дорогу молчал.

Молчал и я. От Кузнечной мы пошли вверх по Маяковского к пятой линии, свернули направо и скоро оказались у двухэтажного, цвета свежих внутренностей, кирпичного комплекса.

Уже на подходе я начал догадываться, куда мы направляемся. И все же, только когда мы вошли в беленую пристройку служебного входа, я понял, что не ошибся.

«Вендиспансер» — было написано на скромной табличке над дверью.

— Мы к Альберту Николаевичу, — обратился Со к охраннику в будке за стеклом.

Тот пожал плечами, побубнил недовольно, но все же набрал номер. Минут через десять из дверей коридора к нам вышел высокий дородный доктор с хорошо обозначенным брюшком и водочным румянцем на свежeweыбритых щеках. С Со они поздоровались как старые приятели.

— Сами пойдете? — предложил Альберт Николаевич, плотоядно обнюхивая сверток с копченой красной рыбой, переданный ему Со. — Или мне ее к вам привести?

— Что делать, Педагог? — Со растерянно повернулся ко мне. Тяжелая сетка почти касалась только что вымытого, еще влажного кафеля. Пахло хлоркой, капустой, еще какой-то больничной дрянью.

— Кто у тебя здесь, Боря? — тихо спросил я.

— А, да!.. Я же тебе не сказал. — Со увлек меня в сторону. — Эта тварь зарезала ее. Она здесь уже две недели. А я только вчера узнал. Короче, девки у нее в общаге сказали...

Имени девушки он, наверное, от волнения не называл. А мне как-то и в голову не пришло спросить. При разговоре о ком еще у Со мог прерываться голос?

— Сами сказали?

— Когда я спрашиваю, мне говорят.

— Я знаю, Боря. А как ты думаешь, ей приятно будет, если ты ее здесь увидишь? Может, нам не светиться? Передадим яблоки и свалим.

— Ну, что, Со? — помявшись, врач подошел к нам. — Я извиняюсь. Вы, парни, решайте, а то у меня дежурство, идти надо. Не хотите подниматься, давайте, я передачу отнесу. Можете написать что-нибудь.

— Правильно, написать! Написать... — зачистил Со. — Бумага есть?

Он как будто обрадовался, засуетился, взял у врача листок из записной книжки.

— Педагог! Что написать? Ты же знаешь, я писать не мастер...

«Напиши, — хотелось мне сказать, — что она лучшее, что у тебя есть в жизни, что не приходил ты к ней только для того, чтобы она научилась тебя ждать. Напиши, что никого никогда так не любил и больше уже не полюбишь. Что ты готов ждать ее всю оставшуюся жизнь, потому что полюбил ее даже не с первого взгляда, а еще раньше, и, если она не сможет тебя простить в этой жизни, ты будешь искать ее в следующей, чтобы, когда найдешь, больше уже никогда с ней не расставаться...»

Многое еще хотелось мне сказать. Но я только пожал плечами.

Со крутанулся на месте и склонился над крытым клеенкой столиком. Чтобы не мешать, я отвернулся...

Форточки на окнах были открыты. Батареи сильно топили, но окна с растрескавшейся на рамах краской еще не расклеивали. От влажного пола стекла запотели. Было свежо и сумрачно.

— А я ведь, правда, жениться хотел, — не оборачиваясь, тихо сказал Со. — Родители мои ни в какую. У меня ведь дома невеста есть, Клара, кореянка, во Владике учится. Там уже все сговорено... Первый раз против пойти хотел. Снять в Омске квартиру, жить с ней. Только институт кончить и чтобы ей восемнадцать исполнилось. А не ходил к ней часто, потому что берег... Да ладно, все равно теперь...

Он решительно свернул листок в трубочку, сунул его поглубже между яблоками, вручил сетку врачу.

Но за минуту до этого, не удержавшись, я заглянул за его плечо. Белоснежный листок мелованной бумаги, вырванный из врачебного ежедневника, оставался чист, не считая типографской даты вверху — 10 апреля 1978 года.

— Если что, — сказал врач, прощаясь, — палата на втором этаже. Окно на дорогу, справа от водосточной трубы.

И он скрылся за дверью на лестницу.

Мы с Со еще потоптались зачем-то возле вахты. Потом, не сговариваясь, вышли на воздух.

Мокрая земля на голых вычищенных газонах бархатно блестела. Блеклое апрельское небо с востока, со стороны Нефтяников наливалось мутной, к вечернему дождю синевой.

Вдоль кирпичной стены прошли мы совсем в другую от ее окна сторону и, выйдя через соседние дворы на Маяковского, двинулись обратно. Расстались молча у входа в парк, почти на том самом месте, где я впервые повстречал Со и Любу. Со поплелся к себе в общежитие. Я поехал домой на Баранова.

А в августе, едва студенты начали возвращаться с каникул и общежитие ИФК снова стало заполняться, Со вместе с Костей Аджамовым попали в одну реально скверную историю. До суда дело не дошло, но их отчислили, и, вместо того чтобы перейти на последний, четвертый курс, оба они «загрели» в армию.

Со попал служить в Самарканд в войска связи. Уже через три месяца он обучал каратэ все командование части, имел постоянный пропуск в город, где четыре раза в неделю тренировался в лучшей Самаркандской школе, и на фото, которые он мне регулярно присылал, вечно был в окружении «верных и преданных ему людей».

Часто, с ночных дежурств на узле связи, он звонил мне, и мы часами разговаривали о разных пустяках. Иногда он, не иначе, как по простоте душевной, звонил домой и (тоже ночами) ректору Громыко.

Возможно, именно по этой причине он, а вместе с ним и Костя, вернувшись через два года осенью, моментально восстановились на четвертом курсе. Институт мы заканчивали уже одновременно...

Я смотрел на мутную желтизну Омки, вялотекущие воды которой медленно втягивались под неровную, грязно-белую кромку Иртыша. Ледоход на нем еще не прошел. Осевший лед был черен, местами присыпан сверкавшими на апрельском солнце пятнами снега.

Если Омск действительно центр Мира, тогда почему все так упорно рвутся в провинцию — Москву или Париж? И что бы сказали по этому поводу жители того же эмирата Оман, в чьем названии еще отчетливее звучит начало сакрального «омманипадмагуммм...»

Тоже, поди, центровыми себя считают. А почему бы не протянуть между нашими двумя центрами — Омском и Оманом — веревочку или, на худой конец,

хотя бы скоростную монорельсовую дорогу и не объявить ее осью мира? Вдруг мир вокруг нее сразу и завращается?

Однако куда интереснее было мне знать, посещали ли подобные мысли Адмирала, чей дом закрывало от меня только стоящее на другом берегу здание речного вокзала. Что-то мне подсказывало, что Верховный Правитель вряд ли заморачивался на сей счет. Особенно, стоя на краю ангарской проруби. Как гидрографу, ему доподлинно было известно, что ближе к делу система координат по умолчанию меняется на вертикальную. А в ней расстояние до неба приблизительно одинаково, отправляйся ты хоть из центра, хоть из самой что ни на есть тараканьей дыры.

Единственным, что еще удерживало шаткую окуневскую конструкцию, оставался для меня только пивной бар «Колчак», расположенный здесь же, неподалеку от «дома Колчака», под крышей Ирландского клуба.

Мне никогда не приходилось слышать об ирландских корнях Александра Васильевича или о его болезненной страсти к традиционному для жителей зеленой страны напитку. Иное, окуневское, толкование местной эклектики настойчиво стучалось теперь в мою бедную голову.

Может, правы окуневы и Омск все-таки есть настоящий центр мира? Ведь где, как не в самом центре его, единственно и можно отыскать следы всего, что есть или было во всем остальном мире, потому что из него это все когда-то и начало быть...

Приземлил меня нижеомский экспрессионист Дулько.

— Колись, Валера!! — потребовал он с неожиданным жаром. — Ты с ней был?!

Я немного еще постоял у окна. Иртыш сверкал, как облезлый жестовский поднос. Говорить не хотелось.

Я подошел к стеллажу с натюрмортным фондом. Выбрал аккуратный гипсовый череп. Повторил пытливо-инквизиторски, держа его перед собой на отлете:

— Был или не был?..

И ответил, вглядываясь в пустые глазницы:

— Какая, на хрен, разница, Йорик? Я ее даже не знал...

